Понедельник

— Котенок, я так рада тебя слышать! — сказала ей мать по телефону. — Ты знаешь, тело опять меня подводит. Порой мне кажется, вся моя жизнь — одна долгая, многоэтапная измена тела.

— Разве не всякая жизнь так устроена? — откликнулась Пип. Она завела привычку звонить матери посреди обеденного перерыва. Это помогало хоть ненадолго избавиться от чувства, что она не годна к этой работе, что к работе в “Возобновляемых решениях” ни один человек не годен — или, наоборот, что все дело в ней самой, что ей ни одна работа не подойдет; проговорив минут двадцать, она могла, не кривя душой, сказать матери, что ей пора возвращаться к делам.

— Левое веко вниз тянет, — объяснила мать. — Как будто к нему грузик подвешен, грузило на тоненькой леске.

— Прямо сейчас?

— То потянет, то отпустит. Начинаю бояться: может быть, это паралич Белла?

— Не знаю, что такое паралич Белла, но это точно не он.

— Как ты можешь быть уверена, котенок, если даже не знаешь, что это такое?

— Ну… ведь у тебя уже “была” болезнь Грейвса? Потом гипертиреоз? И меланома?

Не то чтобы Пип нравилось высмеивать маму с ее болячками, но любой их разговор был чреват “моральным риском” — этот весьма полезный термин девушка усвоила, когда изучала в колледже экономику. В материнской экономике она была чем-то вроде очень крупного банка, чье банкротство совершенно недопустимо, или ценнейшим сотрудником, которого невозможно уволить за нахальство, потому что без него не обойтись. Кое у кого из оклендских подруг тоже были непростые родители, но все же каждой из них удавалось поддерживать с родителями ежедневное общение без неподобающих странностей, потому что даже в самом трудном случае дочь не была для старшего поколения, как Пип для ее матери, единственным светом в окошке.

— Мне кажется, я не смогу сегодня пойти на работу, — сказала мать. — Мне только медитация дает для нее силы, а никакой медитации толком не получится, когда веко тянет вниз *невидимое грузило*.

— Мама, ты не можешь снова сказаться больной. Еще даже июль не наступил. А если потом и правда заболеешь каким-нибудь гриппом?

— И пусть все удивляются: что это за старуха пакует их закупки, а у самой пол-лица до плеча свисает? Как же я завидую твоему личному отсеку в офисе, ты себе не представляешь. Твоей невидимости.

— Вот уж отсек идеализировать не стоит, — заметила Пип.

— Самое ужасное в телах именно это — их видимость. Они очень *видимы,* очень.

Нет, мать Пип не была сумасшедшей, хоть и страдала хронической депрессией. На должности кассирши супермаркета в Фелтоне, торговавшего натуральными продуктами, она держалась уже десять лет с лишним, и Пип прекрасно могла уследить, о чем мать говорит и почему, если отказывалась на время от собственного образа мыслей и подчинялась материнскому. На серых стенках офисного отсека Пип имелось единственное украшение — наклейка на бампер: ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ

С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ВОЙНА ИДЕТ ХОРОШО. Другие сотрудники оклеили свои отсеки фотографиями и вырезками из журналов, но Пип, подобно ее матери, чувствовала притягательную силу невидимости. К тому же стоит ли вить гнездышко, если тебя не сегодня завтра уволят?

— Ты уже думала, как мы *не будем* праздновать *твой день*? — напомнила она матери.

— Честно говоря, я бы весь этот день провела в постели, укрывшись с головой. Я и без него прекрасно помню, что старею и старею. Мое веко очень хорошо мне об этом напоминает.

— Давай я сделаю торт, приеду, и съедим его вместе. Ты что-то сегодня совсем мрачная.

— Увижу тебя — не буду мрачной.

— Гм… Жаль, что меня не продают в таблетках. Торт со стевией[1] подойдет?

— Не знаю. Химия моей слюны на стевию реагирует как-то странно. Вкусовые бугорки, по моему опыту, не так легко обмануть.

— Сахар тоже дает послевкусие, — заметила Пип, хоть и понимала, что шансов выиграть спор у нее нет.

— Сахар дает *кислое* послевкусие, с которым у вкусового бугорка проблем не возникает: он так устроен, что сообщает о кислом, но не сосредоточивается на нем. Не сигнализирует пять часов подряд: странно, странно! Как было в тот единственный раз, когда я выпила что-то со стевией.

— Кислый привкус все-таки тоже не сразу исчезает.

— Это никуда не годится, если бугорки все еще чувствуют странность через пять часов после того, как выпьешь подслащенный напиток. Ты слыхала, что стоит один-единственный раз покурить метамфетамин, и вся химия мозга изменится до конца твоих дней? Вот о чем мне напомнил вкус стевии.

— Я тут не балуюсь метом, если ты на это намекаешь.

— Я намекаю, что никакого торта мне не нужно.

1 *Стевия* — многолетнее растение. Используется как сахарозаменитель.

— Ладно, придумаю другой торт. Прости, что предложила тебе *отраву.*

— Я не говорила, что это отрава. Просто стевия как-то странно действует…

— …на химию твоей слюны, поняла.

— Котенок, я буду есть любой торт, какой ты привезешь, от ложки рафинированного сахара я не умру. Я не хотела тебя огорчить. Ну пожалуйста, хорошая моя!

Звонок нельзя было считать завершенным, пока они друг друга не изведут. С точки зрения Пип, проблема — то, что сковывало ее, глубинная причина, по которой она ни в чем не могла достичь результата, — заключалась вот в чем: она любила маму. Жалела ее, страдала с ней на пару, телом отзывалась на звук ее голоса, испытывала асексуальную, но выводящую из равновесия физическую тягу к ней, тревожилась даже о химии ее слюны, хотела видеть ее более счастливой, терпеть не могла ее расстраивать, находила ее милой. Это был массивный кусок гранита посреди ее жизни — источник сарказма и злости, которые она направляла не только на мать, но и на менее подходящие объекты, причем в последнее время со все более скверными последствиями для себя. Когда Пип злилась, то не на мать на самом деле, а на этот гранитный блок.

Ей было восемь или девять, когда она додумалась спросить, почему в их маленьком домике под секвойями поблизости от Фелтона празднуется только ее день рождения. Мама ответила, что у нее, у мамы, дня рождения нет, что ей важен только день рождения Пип. Но Пип не отставала, пока мама не согласилась считать “своим днем” летнее солнцестояние и отмечать его тортиком. После этого естественным порядком возник и вопрос о мамином возрасте, на который она отвечать отказалась, лишь сообщив с улыбкой дзэнского наставника, произносящего коан:

— Мне достаточно лет, чтобы быть твоей мамой.

— Но сколько же тебе все-таки?

— Погляди на мои руки, — предложила ей мама. — Когда наберешься опыта, сможешь узнавать возраст женщины по рукам.

И тогда — словно впервые — Пип присмотрелась к маминым ладоням. Кожа на тыльной стороне была не такой розовой и непрозрачной, как у нее самой. Казалось, будто кости и сосуды силятся выйти на поверхность, будто кожа — вода в мелеющем заливе, из-под которой выступили неровности дна. Хотя волосы у мамы были густые и очень длинные, в них попадались сухие на вид седые пряди, а кожа на горле напоминала кожуру перезрелого персика. В ту ночь Пип долго не могла уснуть: все думала, не умрет ли мама в скором времени. Это было предвестье гранитного блока.

За последующие годы в ней развилось пламенное желание, чтобы в жизни матери появился мужчина или хоть кто-нибудь, какой-нибудь человек, помимо нее, который бы ее любил. Как потенциальных кандидатов она рассматривала то соседку Линду, тоже мать-одиночку и тоже изучающую санскрит; то Эрни, мясника из маминого супермаркета и притом вегана, как и мама; то педиатра Ванессу Тонг, которая обрушила на маму свою влюбленность в форме настойчивых приглашений понаблюдать вместе за жизнью птиц; то Сонни, здешнего мастера на все руки с окладистой бородой, которому любой ремонт давал повод для разговора о жизни и обычаях индейцев пуэбло в старые времена. Все эти сердечные обитатели долины Сан-Лоренсо приметили в матери Пип то, что и сама Пип подростком в ней увидела и чем стала гордиться: некое невыразимое величие. Необязательно браться за перо, чтобы стать поэтом, и не всякий художник что-то рисует. Духовная, медитативная жизнь матери сама по себе была искусством — искусством невидимости. Телевизора в их домике не было никогда, компьютера, пока Пип не исполнилось двенадцать, тоже не было; новости мама черпала главным образом из газеты “Санта-Круз сентинел”, которую читала ради ежедневного мини-удовольствия испытать тихий ужас перед тем, что творится в мире. Само по себе такое не было диковинкой в их долине; людей смущала, однако, исходившая от матери застенчивая уверенность в собственном величии — по крайней мере, держалась